

КАПИТАН УЛЬДЕМИР



Роман-диалогия

КНИГА ПЕРВАЯ

СТОРОЖ БРАТУ МОЕМУ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я плохо помню день своих похорон, зато день гибели до сих пор перед глазами. Вернее, не день; он успел уже кончиться, сентябрьский денек семьдесят третьего года, уточняя — одна тысяча девятьсот семьдесят третьего. Уточняя для тех, кто не сразу поймет, что происходило в двадцатом веке, так невозможно давно. День уполз за горизонт, сумерки сгустились, когда я позвонил ей. Она подошла к телефону и, едва я успел что-то пролопотать, сказала голосом, в котором была бесконечная усталость:

— Я разочаровалась в тебе.

«Разочаровалась» — приятное словечко. Приятное ретроспективно: оно как-никак предполагает, что перед этим она была мною очарована, а в этом я как раз был меньше всего уверен. Так что таилась в слове некоторая возможность, крылся повод порадоваться хотя бы за свое прошлое, когда тобою очаровывались, а не наоборот.

Но я не испытал ровно никакой радости. С таким же успехом можно гордиться тем, что тебя стукнули по затылку топором, а не молотком: значит, сочли серьезным противником, высоко оценили крепость черепа. Боюсь только, что после такого удара не остается времени для оценки оказанного тебе уважения, вот и у меня в тот раз времени не осталось.

В ответ я тогда, помнится, изрек что-то вроде:

— Ну извини...

И положил трубку, и даже прижал ее покрепче — чтобы трубка, не дай бог, не подскочила сама к уху и не пришлось бы слышать что-нибудь еще похуже.

Похуже — потому что я знал, что никаких смягчений вынесенного приговора не последует. Нуш имела обыкновение говорить то, что чувствовала; именно чувствовала, а не думала.

И вот я, положив трубку, сидел и не то чтобы размышлял, но инстинктивно искал ту дырку, в которую можно было бы удрать

от самого себя, потому что если Нуш разочаровалась, то виновата в этом наверняка была не она, а именно я, и от этого «меня самого» надо было куда-то деваться — оставаться в своем обществе мне ну никак не хотелось. Но мысли мои всего лишь бодро выполняли команду «на месте», и ничего остроумного не появлялось; хотя я по старой армейской привычке раза два попробовал командовать: «Дельные мысли, три шага вперед!» — ни одна не нарушила строя. Однако поскольку положение, в котором я оказался, было довольно-таки стереотипным, то оставалась возможность воспользоваться каким-то из стандартных выходов — и их человечество даже к двадцатому веку успело уже наработать немалую толику.

Отделаться от себя самого можно было, например, с помощью хорошей выпивки. Бывало, что друзья проявляли скромность, и где-то за книгами застаивалась не обнаруженная ими бутылка. Память подсказала, что искать бесполезно, но я на всякий случай встал — двигался я словно в невесомости, не ощущая тяжести тела, — и пошарил. Безуспешно: не те друзья заходили ко мне в последний раз. Этот стереотип отпадал; надо было искать еще что-нибудь.

Я взял трубку. Не телефонную — о ней мне в тот миг и думать не хотелось, словно это она сама выговорила услышанные мною слова; я судил, конечно, неправильно, потому что по телефону, быть может, удалось бы разыскать кого-нибудь из приятелей, а поплакать другу в жилетку — тоже стереотипный выход, и не самый худший: посочувствуют тебе, а не ей, хотя кому из вас двоих сейчас хуже — трудно сказать. Ну да ведь и ее кто-нибудь утешит! (Этой мысли мне только не хватало.) Итак, я взял трубку, хорошую, старую английскую трубку «Три би», медленно набил ее (табак, как обычно, был пересушен), потер пальцами чубук, лихо отваленный вперед, словно форштевень клипера, сунул длинный мундштук в рот и раскурил.

Что делать дальше, я так и не придумал, но, раз уж я встал, надо было двигаться; переживать в темной комнате еще тоскливей, чем в освещенной, а зажечь свет я не хотел, потому что тогда мог увидеть в темном окне свое отражение; на такое я в тот миг не был способен. Я толкнул дверь, вышел на веранду, на крылечко и спустился в сад.

Совсем стемнело, и небо было спокойным и ясным, и звезды, вечные утешительницы, своим неощутимым светом прикоснулись к моему лицу. Летучая мышь промчалась бесшумно и низко, кру-

то метнулась в сторону и через мгновение кинулась еще куда-то; ловила мошек, верно; но мне в тот миг показалось, что это — проекция моей души на звездное небо и что во мне сейчас что-то — душа, коли нет иного термина, — вот так же мечется, ловя ускользающую добычу и шарахаясь от препятствий. У летучей мыши для этого есть, как известно, локатор. А у меня что было? Я подумал и нашел словечко: судьба.

Я шел вдоль забора, мимо хилых яблонь, и думал: где у человека судьба? Медики вроде бы знают, какие центры в организме, в головном мозге ведают разными функциями: зрением, слухом, болью, удовольствием, даже, может быть, памятью. А где центр судьбы? Без него, думал я, никак нельзя: ведь судьба — не вне человека, а в нем самом, потому-то от нее и не уйти. (Истина, известная настолько давно, что даже в том, двадцатом, веке она была банальностью.) Не уйти; а уйти мне хотелось, потому что после сказанных и услышанных нынче слов судьба моя могла заключаться лишь в одном: неторопливо стареть. И этой судьбы я не желал.

Молодость — существо, и она не хочет умирать. Вообще человек живет несколько почти совсем независимых жизней, и, значит, его постигает несколько смертей. Умирает детство, умирает юность. Но детство умирает, само того не понимая, и ему интересно: детство жаждет перемен. Юность — героически: она полагает, что все еще впереди и смерть ее — всего лишь переход в лучший мир, юность в этом смысле крайне религиозна, она бесконечно верит в жизнь. Молодость — иное; она уже просматривает путь далеко вперед и чувствует себя примерно так, как тот, что падал со сто какого-то этажа, и, когда из окна пятидесятого ему крикнули: «Как дела?» — бодро ответил: «Пока — ничего». Молодость не хочет умирать, даже состарившись, даже когда она уже старая молодость.

Да, я не хотел этой смерти, а нетопырь все суетился вверх, и звезды оглаживали его так же, как и меня. Я тронул пальцами ствол; кора была теплая. Я нагнулся и ладонью коснулся травы, и она показалась мне нежной, как волосы Нуш.

Впрочем, может, и не нетопырь метался над головой, а совсем другая летучая мышь. Просто в детстве я очень любил «Маугли» и до сих пор помнил песенку оттуда:

На крылья Чили пала ночь,
Летят нетопыри...

Теперь-то я знал, что ребенок, попавший в джунгли, не вырастет человеком, хотя биологически и останется им. А в детстве мне казалось, что только там, в лесу, можно жить по-настоящему, что в нем — подлинная свобода. Поэтому, наверное, я, горожанин, всю жизнь так любил лес. Лес, братство человека, зверей, всей природы. И сейчас, когда трогал кору яблоньки, гладил траву и глядел на звезды и на летучую мышь, я понял вдруг, какой выход есть для моей боли, моей скорби о Нуш и о любви. Не надо было ни пить, ни искать приятелей и плакаться. Нужно было попытаться снова найти тот общий язык со всем, что окружало меня, который я в детстве знал и забыл впоследствии, когда стал воспринимать природу как декорацию или условие рациональной жизни. Надо было окунуться в природу, нырнуть в нее, погрузиться — может быть, даже раствориться и оставаться в ней до тех пор, пока она не вымоет из меня все лишнее, из-за чего, быть может, Нуш и сказала о своем разочаровании.

Это было уже почти готовое решение. Окунуться, вынырнуть, погрузиться, раствориться (и немедленно, ждать не мог) — слова, словно специально подобранные, сами указывали направление.

Мы зародились в воде и вышли из нее. Мы — жизнь. Мы стоим из воды и еще малости чего-то. Окунуться в лес можно, но это — ощущение более психологическое, чем физическое. Все равно мы остаемся в привычной среде, только чуть иными становятся шумы и запахи. Окунуться в воду — совсем иное. Иная сущность обнимает тебя со всех сторон, словно мать, к которой ты наконец вернулся — а она терпеливо ждала... Недаром я всегда любил плавать, боязнь воды казалась мне неестественной, утонуть — невозможным: не может ведь мать пожелать зла одному из чад своих. И вот я решительно прошагал к калитке, отворил и захлопнул ее за собой.

В сентябре большинство дачников уже разъезжается: дети идут в школу, а дача на три четверти — для детей. И я шел по безмолвной улице пустого темного поселка, а впереди, метрах в трехстах, рисовалась темная гряда ольшаника, обозначающая берег. Я пошел напрямик, полем, сокращая путь, раз и другой пересек дорогу, вышел на прибрежную полянку и нырнул в кустарник, сразу же нащупав знакомую тропинку. Она бежала вдоль реки по самой кромке, вдоль невысокого — метра в два-три — обрыва. Надо было только отводить от лица невидимые во мгле ветви. Минут пять я пробирался, пока не вышел наконец на любимое место: тут ле-

том мы купались с сыном. Быстро разделся и ступил в прохладную, но для обитателя Прибалтики вполне еще приемлемую воду.

Гауя — река мелкая, но стремительная и с причудами. В ней тонут, бывает. Но я-то знал, что не утону. Мы с рекой были одной крови, она и я. Поэтому, пройдя метров десять по щиколотку в воде и добравшись до места, где дно стало понемногу опускаться, я просто лег на воду и отдался стремительному потоку, выставив руки вперед, чтобы не шарахнуться головой о какую-нибудь корягу, каких в этой реке множество.

Не шевеля ни пальцем, я летел вперед со скоростью академического скифа — такое уж тут течение. Назад придется возвращаться бегом вдоль берега: против течения не выгребешь.

Так я подумал и ощутил холодок: как-никак был сентябрь, а Гауя и в июле — не из теплых рек. И тут меня охватил азарт: что значит — не выгребешь? А если постараться? Согреться все равно нужно было.

Я повернулся головой против течения и пошел брассом, на два гребка. И наконец-то почувствовал состояние растворенности в реке, единства с нею, со всей природой, со всем мирозданием и со звездами, что все так же, наверное, светили наверху, но теперь уже не они, а вода ласкала меня. Я плыл и плыл, и хотелось плыть так всегда, я был невесом, руки и ноги работали ритмично, усталость еще не пришла, и можно было помечтать о возможности плыть вот так — где-нибудь в теплых морях, что ли...

Даже не знаю: продвинулся ли я против течения, держался ли на месте, или меня все-таки сносило. Думаю, что не сносило: плавал я хорошо. И вот я в очередной раз вдохнул воздух, и лицо снова ушло в воду, — но ноги не сделали гребка, и руки не вышли вперед, как им полагалось...

Так и не знаю, что произошло тогда: сердце ли, конвульсия, просто ли не захотелось возвращаться домой из этого мира, где я был один и не было того второго меня, от которого я так хотел сегодня отделаться, — или же «частый гребень» именно в тот миг нащупал меня, стрелки на далеком пульте показали величину индекса, кто-то кивнул — и мои руки и ноги остановились.

Так и не знаю, были ли яркие огни, которые я увидел, когда вдохнул воду и понял, что тону, когда хотел крикнуть «Нуш!..» и не смог, когда сообразил вдруг: надо было звонить еще раз, два раза, сто раз, потому что не сегодня завтра девушка двадцати с небольшим лет поняла бы, что нельзя рубить голову, даже не выслушав

обвиняемого, — не знаю, были ли эти яркие огни реальностью, той другой, вернее — этой другой реальностью, или так и должно быть, когда тонешь. Может быть, и то и другое, но в операционном зале «частого гребня» я больше никогда не был — нам и не полагается бывать там. Похороны свои я видел в записи. Биоробот был очень похож на меня, насколько можно быть похожим на себя, если тебя находят на второй день черт знает где и ты успел уже стать кадровым утопленником.

Я попытался разглядеть, была ли Нуш на похоронах. Народу было средне — не много и не мало, но запись хронисты сделали довольно скверную, да и то все общим планом. Только того, другого меня, от которого я так хотел отделаться, мне показали крупно, чтобы у меня не оставалось сомнений.

Я все-таки думаю, что она была там. Что ей, в конце концов, стоило прийти? Ее там никто не знал, да и вообще между нами ничего не было. Кроме разве что любви. И то лишь с моей стороны.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В обширном зале сиденья поднимались амфитеатром к высокому куполу, но занятых было очень немного, в самом низу. Посреди зала, чуть выше сидевших, пылала звезда — желтая, горячая, живая, с короной, с протуберанцами; но звезда не была Солнцем, несколько иным был оттенок. Почему-то хотелось, чтобы пылала звезда шумно, с огненным ревом, с грохочущим треском — но тишина окружала светило, как в мировом пространстве, и люди тоже молчали, только смотрели, бессознательно поеживаясь. Потом один проговорил: «Давайте». И мир сломался: звезда расслоилась, как круглое яйцо с желтком и белком, и белок взорвался, расширяясь, разлетаясь, несясь во все стороны (люди невольно отшатнулись, прижались к спинкам, один-другой закрыли лицо ладонями), желток же стал стремительно уменьшаться, меняя цвет. Расширяющееся пламя достигло людей, охватило их, промчалось и унеслось куда-то за стены зала, а вернее, просто погасло, потому что оператор выключил изображение. Зажженный в зале обычный свет после виденного показался глубокими сумерками. Люди еще помолчали, потом кто-то сказал негромко:

— Вот картина того, что должно произойти. Мы интерпретировали по Шувалову — Кристиансену. Последствия рассчитаны.

Выводы неутешительны: температура у нас, учитывая расстояние от источника опасности, не повысится настолько, чтобы грозить глобальными катастрофами, но жесткая компонента... от нее нам не укрыться. Неизбежно возникновение мутаций, непредсказуемые изменения генетической картины у всего живого, начиная с одноклеточных и кончая нами.

— Возможны меры защиты? — спросил первый голос.

— Нейтрализовать эти излучения нельзя. Построить экран для целой планеты? Мы просто не успеем. Перевести жизнь под землю — тоже. Генная инженерия могла бы помочь, если бы речь шла о единицах, пусть тысячах — но не о миллиардах людей. Так что я вижу один путь. Любой из нас видит один путь. К счастью, мы не безоружны. Установка готова. Я, конечно, не рассчитывал, что применить ее придется так скоро — и в столь, мм, драматических обстоятельствах. Есть еще отдельные уязвимые места, но к моменту готовности экспедиции я смогу поручиться за прибор.

Снова было молчание. Потом первый голос спросил:

— Успеем ли мы подготовить экспедицию? После столь продолжительного перерыва? Это первый вопрос. И второй: каков будет риск для участников экспедиции? По первому вопросу, пожалуйста.

Третий голос был медленным, слово четко отделялось от слова:

— Мы отменим запуск очередного галактического зонда и на его базе будем создавать населенный корабль. То есть начнем работу не с нуля. Используем исторический опыт.

— Чем же сможет помочь опыт экспедиций, ухидивших сотни лет назад?

— Экспедиции были густонаселенными. Мы возьмем у них все, что касается условий обитания на корабле. Ну, осовременим, разумеется.

— Сколько вам потребуется времени?

— Год.

— Теперь прошу по второму вопросу.

Отвечил тот же, что говорил об установке:

— Риск для участников сохранится. Процент его сейчас определить трудно, но в первом приближении — так, примерно двадцать пять.

— Двадцать пять процентов риска?

— Да. Но мы еще уточним.

— В чем заключается риск?

— Во-первых, они могут не успеть. Но это будет означать и нашу гибель. Вернее, вашу.

— А себя вы выносите за скобки?

— Это ведь моя установка. Значит, я буду там.

— Послушайте, Шувалов...

— Мое право и обязанность. Второй источник риска: сама установка.

— Но вы сказали, что она не подведет.

— Вас — да. Но сейчас трудно предсказать, как поведет она себя, сработав, и как будем чувствовать себя мы во время ее работы.

— Мы — это кто?

— Доктор Аверов: это и его право, и обязанность. И те, кто поведет корабль. Экипаж.

Медленный голос снова возник:

— Не менее шести человек.

Долго молчали. Потом первый голос произнес:

— Мы, вернее, наши предшественники прекратили звездные экспедиции много лет назад именно потому, что люди подвергались риску. Общество нашей планеты не может допустить риска для людей. И не даст согласия на такую экспедицию. Не даст даже добровольцам. Нам не позволят даже пригласить добровольцев. Мы живем не во времена дикости. Жизнь священна.

— Ко мне и Аверову, — сказал Шувалов, — это отношения не имеет. Риск экспериментатора остается и сегодня, хотя мы всегда сводим его к минимуму. Что же касается остальных... что же, гибнуть всей планете? Общество предпочитает самоубийство?

Первый голос ответил:

— Общество не знает о предстоящем взрыве Сверхновой. И я не думаю, что должно знать. Оно узнает об этом лишь в случае, если экспедиция закончится неудачей.

— Чтобы закончиться, — сказал Шувалов, — она должна начаться. А для этого необходим экипаж, которого нам не хотят давать.

— Хорошо, — после паузы проговорил человек, еще не принимавший участия в разговоре. — Мы дадим экипаж. Такой, против которого наше общество не сможет возразить ни слова. Потому что он будет состоять из людей, которых сегодня просто не существует. Служба Времени возьмет их из прошлого.

— А что, — спросил Шувалов не без ехидства, — по отношению к людям прошлого гуманные соображения недействительны?

— Действительны в той же мере, как ко всем нам. Но мы подберем людей, которые удовлетворят нас, но чей путь там уже завершается. Те люди не проиграют ничего. Но могут выиграть. Я думаю, что это гуманно.

— Я думаю, — сказал первый голос, — что это наиболее приемлемый путь. Итак: для нейтрализации звезды, которой вскоре предстоит стать Сверхновой и тем самым поставить под угрозу самое существование жизни на Земле и планетах Солнечной системы, снаряжается экспедиция «Зонд». Задача: при помощи установки Шувалова — Аверова нейтрализовать звезду. Участники: начальник экспедиции — Шувалов, научный сотрудник — Аверов. Экипаж из шести человек обеспечивает Служба Времени. Подготовка отобранного экипажа будет происходить в Центре Космических проблем. Ориентировочное время старта — через год. Вся информация, связанная с экспедицией, объявляется закрытой. Для всех, кроме допущенных, работа интерпретируется как подготовка к запуску очередного автоматического сопространственного галактического зонда, выполняющего научные задачи. Благодарю вас.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

День выдался спокойный, и можно было погулять. Я отворил дверь и вышел в сад. Снова были сумерки, сосны крепко пахли, песок едва слышно похрустывал под ногами, поскрипывали под ветром коричневые стволы. Соседняя дача темнела в полусотне метров, одно окошко в ней светилось, и хотелось думать, что сейчас на пороге покажется сосед и можно будет неторопливо потолковать с ним о разных пустяках. Слева была чернота; вообще-то, там тоже находилась дача, но теперь ее не было; я к этому уже привык и просто не смотрел в ту сторону — тогда можно было думать, что дача стоит там, как раньше.

Я медленно шел по дорожке, мимо грядки с клубникой, и мне все казалось, что вот-вот кто-то выйдет из-за дома. Раньше я ожидал, что покажется она. Но теперь — чем дальше, тем больше — ловил себя на том, что жду не ее, а сына, чумазого, запыхавшегося, живущего в своем, насчитывающем десять лет от роду мире и поглощенного своими делами и проблемами. Я ждал, а он все не выходил, и мне, как обычно, стало тоскливо. Но конструкторы корабля не предусмотрели ни детей, ни женщин, а вот иллюзия сада

была полной: наверное, они хотели облегчить нашу жизнь, когда записали те картины, что наиболее четко запечатлелись в нашей памяти, и дали возможность воспроизводить их по собственному желанию. Не знаю, как это получалось; апартаменты мои, хотя и были больше прочих на корабле, все же измерялись квадратными метрами и уж никак не сотнями; и тем не менее, отворив дверцу, я выходил в свой сад (его, конечно, давно уже нет, не знаю, что там сейчас, и не хочу знать) и бродил по дорожкам, и все это было настоящее, без обмана. Потом я входил в дверь своего дома — и оказывался в каюте, которая была уже самой настоящей реальностью, как и все приборы, что смотрели на меня со стен и стенов, как броня бортов и пустота за ними.

Сказанное звучит, наверное, довольно загадочно, но если разобраться, то окажется, что все очень просто. В эти времена (мысленно, для себя, я называю их временем моей второй жизни, потому что никак не удается отделаться от мысли, что я — какой-то первый я, не совсем я, но все же я — что неопределенная эта личность все же утонула сколько-то лет назад, сколько — не знаю, потому что с тех пор летосчисление менялось самое малое три раза, и, чтобы разобраться во всех этих календарях, надо было быть крупным специалистом) — итак, в эти времена серьезные причины вынудили Землю снова послать людей к звездам. Давным-давно люди уже летали к ним, и не возвращались, и не могли вернуться, и потому полеты были прекращены. Теперь люди могли уже и слетать, и возвратиться, но это все еще оставалось делом рискованным, а нынешнее человечество не хотело рисковать ни одной жизнью — так, во всяком случае, я это понимаю и мои ребята тоже. Современные люди любили друг друга, каждый каждого, их любовь была не абстрактной, а очень, очень конкретной, физически ощутимой, и если кому-то было нехорошо, то так же нехорошо становилось и тем, кто был к нему ближе остальных, а потом тем, кто был близок этим близким, — а в конечном итоге близким было все человечество. Это был какой-то сверхсложный организм, их человечество, единый организм (в наше время мы были уже многоклеточным организмом, но единым еще не были), и если что-то где-то болело, то плохо чувствовал себя весь организм, а на это люди не были согласны. И когда понадобилось срочно лететь, им не оставалось ничего другого, как прибегнуть к нашей помощи — к помощи людей, которые в этот их единый организм не входили и войти не могли, потому что принадлежали совсем другим временам.

И вот они, шаря по столетиям, от Ромула до наших дней (а точнее — начав задолго до Ромула), за несколько месяцев вытащили к себе более двух десятков человек, из которых в конце концов и был сформирован экипаж из шести персон. От каждого участника полета требовалась высочайшая степень — не физического здоровья, не спортивной подготовки, потому что корабль их, с моей точки зрения, напоминал, скорее всего, летающий санаторий для большого начальства, — требовалась высочайшая степень моральной пластичности, умения притираться друг к другу, чтобы весь экипаж работал как единый организм. По их шкале высшая степень пластичности стоила тысячу баллов; такого парня можно было бы пустить в яму с саблезубыми тиграми, и через пять минут они лизали бы ему пятки своими шершавыми языками. Но те, кто решал судьбы экспедиции, постановили, что в экипаже надо было иметь индекс пластичности не менее тысячи двухсот! Такие ребята не бегают толпами по улицам, и им пришлось просеять сквозь их сито чуть ли не всю историю человечества и набрать эти самые два десятка. Потом некоторые не подошли из-за того, что при всей их пластичности оказались совершенно невосприимчивыми к технике — а речь как-никак шла о сложнейшем корабле — или же были не в состоянии усвоить даже те азы современной науки, без которых было бы невозможно понять, что же им предстоит делать; бесспорно, эпоха не всегда служит точным мерилом умственного развития — даже в мои времена за одного Леонардо можно было отдать целый курс инженерного факультета и в придачу курс Академии художеств, и мы не остались бы внакладе, — но все же не всем и не все оказалось по силам. Так что осталось нас столько, сколько и требовалось. Остальным предстояло коротать свои дни в заведении, представлявшем собою санаторий для здоровых мужиков во цвете лет.

Из прошлого нас всех вытаскивали примерно одним и тем же способом: когда становилось ясно, что нужный человек вот-вот (как говорили в мое время в тех местах, где я жил) положит ложку, его в последний миг выхватывали из того времени, а на его место подкладывали искусно сотворенного биоробота, так что никто и не замечал подмены. Большинство наших ребят было выдернуто во время войн, когда удивлялись не тому, что человек умер, а тому, что он остался жив. Благо в войнах в те эпохи — включая мою — недостатка не было.

Так что собралась веселая компания. По рождению нас отделяли друг от друга столетия, а то и тысячелетия, но здесь мы быст-

ро нашли общий язык, потому что отныне у нас была одна общая судьба и очень мало общего — с судьбой остальных, живших в этом времени людей: пусть мы разобрались и в корабле, и в основах современной науки, но стать по-настоящему современными людьми так и не смогли.

Дело было не во внешности, хотя мы, конечно, отличаемся от них весьма и весьма; правда, друг на друга мы и вовсе не похожи, но на них — еще меньше. Они — те, кто нас выгащил, — выглядят, по нашему мнению, однообразно: рослые, прекрасного сложения, смуглые, с волосами от черных до каштановых — более светлые тона встречаются крайне редко — и главным образом темноглазые. Они очень красивы, сравнительно мало меняются к старости, не седеют. О женщинах и говорить нечего: любая из них в мое время завоевала бы все мыслимые титулы в области красоты. За время тренировок я успел познакомиться с несколькими; они, думаю, делали это из любопытства. Жаль только — с ними не о чем было говорить: слишком уж разное мы получили воспитание. В этом-то и крылась основная причина того, что в этой эпохе все мы могли быть только кем-то наподобие эмигрантов, невольных эмигрантов из других эпох.

Дело в том, что мы были выдернуты из своих времен уже в зрелом возрасте, когда формирование каждого из нас как личности успело закончиться. Вот Георгий: хороший штурман и прекрасный парень. Он — один из тех трехсот, что защищали Фермопилы с Леонидасом во главе, и я не хотел бы видеть его в числе своих врагов. В его время и в его стране хилых детишек кидали в море, чтобы они не портили расу; даже мои гуманистические концепции кажутся ему слонтяйскими, не говоря уже о современных. Он редко улыбается; мне кажется, он так и не может простить себе, что остался в живых, когда все прочие спартиоты — и еще тысяча наемников — легли там костями. Он отлично понимает, что это от него не зависело, но все же приравнивает, видимо, себя к беглецам с поля боя, а таких в его время любили не больше, чем во всякое другое. Но, повторяю, штурман он что надо: ориентирование по звездам у античных греков в крови. Он редко проявляет свои чувства (чего нынешние люди не понимают) и очень холодно относится к женщинам, потому что чувствует, что они в чем-то превосходят его, а его самолюбие — древние очень холили свое самолюбие — не позволяет ему примириться с этим.

Или Иеромонах. Мы с ним соотечественники и почти земляки, только он жил на три с половиной сотни лет раньше. Он тоже

прекрасный мужик — все мы прекрасные мужики, — но кое-чего не понимает, а ко всему, чего не понимает, относится недоверчиво. Сомневаюсь, чтобы он разуверился в бытии Божиим, — во всяком случае, до сих пор он в сложные минуты шепчет что-то — подозреваю, что молитвы, — и осеняет себя крестным знамением. Он прекрасно знает устройство большого корабельного мозга, которым ведает, и с этим аппаратом у нас никогда не было ни малейшей заминки. Могу поручиться, что в глубине души Иеромонах одушевляет его, относит к категории духов — скорее добрых, однако, чем злых. Что-то вроде ангела-вычислителя, хотя таких в христианском вероучении не было. Он эмоционален, но после каждого открытого проявления чувств смущенно просит прощения у Бога. На женщин смотрит с интересом, когда думает, что никто этого не замечает. Рассердившись на кого-нибудь, он называет его еретиком и грозно сверкает глазами. Он невысок, черняв и носит бороду. Сейчас это считается негигиеничным.

Они со спартиотом не похожи друг на друга, а еще меньше похож на каждого из них в отдельности и на обоих вместе наш первый пилот, которого мы называем Рыцарем.

Он уверяет, что и в самом деле был рыцарем когда-то — в каком-то из далеких веков. Это его дело. Прошлое каждого человека является его собственностью, и он может эту собственность предоставлять другим, а может и держать при себе и не позволять никому к ней прикасаться. Пора биографий давно минула; какое значение имеет то, что человек делал раньше, если есть возможность безошибочно установить, чего стоит он сейчас, и обращаться с ним, исходя именно из этого? Был рыцарем, ну и что же? Зовут его Уве-Йорген, по фамилии Риттер фон Экк. Он высок и поджар, обладает большим носом с горбинкой и широким диапазоном манер — от изысканных до казарменных (не знаю, впрочем, — кажется, у рыцарей казарм не было). Прекрасный пилот, чувствующий машину как никто. В разговорах сдержан, зато слушает с удовольствием. При этом он чуть усмехается, но не обидно, а доброжелательно. Взгляд его всегда спокоен, и понять что-либо по его глазам невозможно. Однажды, во время ходовых испытаний, мы могли крепко погореть; Рыцарь был за пультом, и ему удалось вытащить нас в самый последний момент (Иеромонах за пультом вычислителя уже бормотал что-то вроде «Ныне отпускаеши...»). Мы все, надо признаться, основательно вспотели. Только Уве-Йорген был спокоен, словно решал задачу на имитаторе, а не в реальном

пространстве, где все мы могли в два счета превратиться в хилую струйку гамма-квантов. Когда это кончилось, он оглянулся и, честное слово, посмотрел на нас с юмором — именно с юмором, но не сказал ни слова.

Что еще о нем? Однажды я зашел по делу в его каюту как раз в тот миг, когда он выходил из своего Сада памяти (я уже рассказал, что это такое). Он резко захлопнул дверцу, и я толком ничего не успел увидеть; там было что-то вроде гигантской чаши, до отказа заполненной людьми, исступленно оравшими что-то. Помню, я спросил его тогда (совершив бестактность), к какой эпохе относится это представление. Он серьезно ответил: «К эпохе рыцарей». И, чуть помедлив, добавил: «Всякий солдат в определенном смысле рыцарь, не так ли?» Я подумал и сказал, что, пожалуй, да. Я и сам был солдатом в свое время.

Уве-Йорген не дурак поесть и понимает в еде толк; к женщинам относится с некоторым презрением, умело его маскируя. Аскетом его не назовешь; добровольный аскетизм не свойствен солдатам.

И совсем другое дело — Питек. Это — производное не от имени Питер, а от слова «питекантроп». Он на нас не обижается за прозвище, поскольку наука о происхождении человека осталась абсолютно неизвестной ему. Нас ведь обучали только необходимому, опасаясь перегрузить наши доисторические мозги, так что многие вершины современной культуры даже не появились на нашем горизонте. На самом деле Питек, конечно, не имеет никакого отношения к питекантропам — вернее, такое же, как любой из нас, он нормальный гомо сапиенс, и даже более сапиенс, чем многие из моих знакомых по былым временам. Но прибыл он из какой-то вовсе уж невообразимой древности — для него, думается, Египет фараонов был далеким будущим, а рабовладельческий строй — светлой мечтой, в которую никто не верил. По-моему, специалисты «частого гребня» и сами не знают, из какого именно времени его выдернули, а сам он говорит лишь что-то о годе синей воды — более точной хронологии из него не выжать. Он любит поговорить и, прожив день, старается обязательно рассказать кому-нибудь из нас содержание этого дня — хотя мы все время были тут рядом и знаем то же, что и он; правда, память у него великолепная, он никогда ничего не забывает, ни одной мелочи. Этим, да еще прекрасным, прямо-таки собачьим обонянием он выгодно отличается от нас.

Питек называл имя своего племени — но, насколько я помню, такое в истории не отмечено, как-то проскользнуло стороной; называл он и свое имя, но никто из нас не мог воспроизвести ни единого звука; по-моему, для этого надо иметь как минимум три языка, каждый в два раза длиннее, чем наши, и попеременно завязывать эти языки узлом. У Питека, правда, язык один, и это великая загадка природы — как он им обходится. Единственное, что я знаю наверняка: там, где он жил, было тепло. Поэтому при малейшей возможности Питек старается пощеголять в своем натуральном виде; мускулатура у него и вправду завидная и ни грамма жира. Нашим воспитателям не без труда удалось убедить Питека надевать на себя хоть самую малость. Он подчинился, хотя они его и не убедили. Он коренаст, ходит бесшумно, великолепно прыгает, не ест хлеба, а мясо, даже синтетическое, может поглощать в громадных количествах, предпочитая обходиться без вилки и ножа.

Он немного ленив, потому что ни на миг не задумывается о будущем, не заботится о нем и ничего не делает заранее, а только тогда, когда без этого обойтись уже нельзя. Зато он обладает великолепной реакцией и мог бы быть даже не вторым, а первым пилотом, будь у него чуть больше развито чувство самосохранения — а также и сохранения всех нас; но смелость его, к сожалению, переходит всякие границы. Я думаю, впрочем, что это относится к его индивидуальным особенностям, хотя, может быть, все его соплеменники были такими — и потому не уцелели. Чувство племени, кстати, — или, по нашей терминологии, чувство коллектива — у него развито больше, чем у любого из нас. Питек может riskовать машиной вместе со всем ее населением, но ради любого из нас он подставил бы горло под нож, если бы возникла такая необходимость, — и с еще большим удовольствием полоснул бы по горлу противника.

Он часто, хотя несколько однообразно, рассказывает о войнах между племенами. Я как-то в шутку поинтересовался, не съедали ли они побежденных в тех междуусобицах. Питек не ответил. Лишь улыбнулся и провел кончиком языка по своим полным губам.

Что еще о нем? В обращении с женщинами он элементарно прост, и, как ни странно, им — современным и высокоинтеллектуальным — это нравится. Впрочем, понять женщин в эту эпоху, как мне кажется, ничуть не легче — или не труднее, может быть, — чем в наши, далеко не столь упорядоченные времена.

И наконец, последний из нас — Гибкая Рука. Так он сам перевел свое имя, как только мы, после первого же часового сеанса